



Памяти Бѣлинскаго.



огда называют имя В. Г. Бѣлинскаго, то въ памяти русского читателя не только встаетъ образъ писателя-гуманиста и замѣчательнаго критика, впервые установившаго прочные литературные взгляды, — съ этимъ именемъ неразрывно вспоминается время высокаго подъема нашей общественной мысли, тѣ удивительные „сороковые годы“, преданіе о которыхъ составляетъ одну изъ наиболѣе любимыхъ страницъ въ исторіи нашего просвѣщенія. Духовный ростъ своеобразнаго русскаго мыслителя, превращеніе его изъ „недоучившагося студента“ въ перваго литературиаго дѣятеля становятся понятными лишь въ связи съ тѣми общественными вліяніями, какими онъ былъ окруженъ въ началѣ своей работы въ кружкахъ, связанныхъ съ Московскимъ университетомъ. О нихъ было много говорено и много писано, но тѣни этого уже далекаго прошлаго какъ бы живутъ съ нами и теперь, вдохновляя при каждомъ обращеніи къ нимъ красотою и глубиною своего идеализма.

Съ начала тридцатыхъ годовъ весь тонкій цвѣтъ нашей молодой образованности, всѣ пылкіе юноши съ разнообразными дарованіями, художественными, философскими и учеными, стали встрѣчаться въ дружескихъ сборищахъ, сначала студенческихъ, а потомъ и общественныхъ кружкахъ; изъ нихъ всѣмъ известными сдѣлались послѣдствіи два—Станкевича и Герцена. Внѣ университета создался кружокъ раннихъ славянофиловъ. Черезъ много лѣтъ, вспоминая

о московской жизни, один из самых деятельных участников встречи во имя серьезных духовных запросов о своих сверстниках (не только о друзьях) говорить: „это была удивительная молодежь... такого круга людей талантливых, чистых, развитых, умных и преданных я не встречал, а скитался довольно по белому и „красному свету“. И вот, в среде этих блестящих молодых философов, с живостью усваивавших все последние выводы западно-европейской науки, появляется человек из глухого уездного общества, с неудачным действием, испытавший всю горечь приниженного существования. Этому новому лицу, В. Г. Белинскому, было суждено сдаться самым горячим и влиятельным проводником во всем читающем обществе тесней мыслей и настроений, которые вырабатывались в упомянутых кружках, в стороне от торной дороги жизни.

А какова была эта торная дорога, каково было существование в уездном захолустье, откуда вышел наш мыслитель, об этом мы имеем художественно-правдивый рассказ выдающегося русского бытописателя, рассказ, имеющий значение исторического документа. — „Действие мое прошло в конце тридцатых и в начале сороковых годов (приимая во внимание медленность течения жизни в провинции — разница со временем действия и юности Белинского незначительна), а эти годы для „обыкновенной“ русской толпы были самыми глухими, самыми мертвыми временем. Все, что родилось и провело в эти годы свое действие, все это, как бы ни был ребенок даровать от природы, было близко к потерю сознания человеческого достоинства, с действием переполнялось всеми сортами трусости, приводило к боязливо мыслить, чувствовать и вовсе отвыкло от аппетита как-нибудь поступать, как-нибудь действовать... Не шевелиться, хоть и мечтать; не показать виду, что думаешь; не показать виду, что не боишься, показывать, напротив, что „боишься“, трепещешь,—тогда как для этого и оснований никаких нет,—вот что выработали эти годы в русской толпе. Надо постоянно бояться—это корень жизненной правды; все остальное может быть, но может и не быть, да и не нужно всего этого остального,—еще наживешь хлопот,—вот что носилось тогда в воздухе, угнетало толпу, отшибало у нее ум и охоту думать! — „Как только начинаю себя помнить, чувство какой-то виновности, какого-то тяжелого преступления уже тяготило надо мной. Так действовала на меня эта унылая, мертвая атмосфера, созданная людьми, искони потерявшими смысл и аппетит „жизни“, что я еще семи или восьми лет уже чувствовал тотъ

самый камень на сердце, какой чувствовали все мои родственники, все мои сверстники".

"Все, что я ни видѣлъ вокругъ себя, все какъ бы отътало съ мною, отъ самого себя и только заботилось о томъ, чтобы не попасть въ пропасть... „Пропадешь!“ — носилось надо всеми мнѣ близкими: — пропадешь, если посмѣшишь чего-нибудь захотѣть самъ, если самъ что-нибудь позволишь бѣ...“ „Хватай не вѣсту-то покуда можно... а то пропадешь!“ И че звѣкъ хваталъ урода, отъ которого спивался... „Хватай мѣсто... останешься безъ мѣста, пропадешь!“ И художникъ, талантливыи человѣкъ „хваталъ“ мѣсто попа, почтальона — и спивался... Ни одной свѣтлой точки не было на горизонте. „Пропадешь!“ — кричалъ небо и земля, воздухъ и вода, люди и звѣри... И все ежились и дрожали отъ бѣды въ первую попавшуюся нору". (Глѣбъ Успенскій). Страстное, можно сказать отчаянное нежеланіе себѣ и другимъ „пропасть“, неутолимая жажда научить людей выбиться изъ этой душной обыкновельской жизни, поднявъ ихъ духовный уровень и сознаніе человѣческаго достоинства— эти побужденія были изъ главнѣйшихъ въ дѣятельности Бѣлинского.

Только что приведенный, быть можетъ грубоватый, но яркій набросокъ Гл. Успенскаго даетъ намъ извѣстное понятіе о томъ, въ какой обстановкѣ питалась мысль и росло чувство негодующаго автора „письма къ Гоголю“. Отъ общей характеристики настроеній въ бѣдныхъ слояхъ общества того времени обратимся къ фактамъ, удостовѣреннымъ людьми, знавшими дѣтство писателя. И. И. Лажечниковъ въ своихъ воспоминаніяхъ по разсказамъ, какие слышалъ на мѣстѣ, передаетъ, что домашняя обстановка Бѣлинского была самая безотрадная. „Общество, которое дитя встрѣчало у отца, были городскіе чиновники, болѣею частью члены полиціи, съ которыми уѣздный лекарь (отецъ критика) имѣлъ дѣло по своей должности (отъ которой ничего не наживалъ). Общество это видѣлъ онъ на-распашку, часто за ерофеичемъ и пуншемъ, слышалъ рѣчи, обращавшіяся болѣе всего около частныхъ интересовъ, приправленныхъ цинизмомъ взяточничества и мелкихъ продѣлокъ, видѣлъ во-очію неправду и черноту, не замаскированныя боязнью гласности, не закрашенныя лоскомъ образованности, видѣлъ и купленное за ведёрку крестное цѣлованіе понятыхъ и свидѣтельствованіе разнаго рода побоевъ и пр. и пр... Душа его, въ которую пала съ малолѣтства искра Божія, не могла не возмущаться при слушаніи этихъ рѣчей, при видѣ разнаго рода отвратительныхъ сценъ. Съ раннихъ лѣтъ накипѣла въ ней ненависть къ обскурантизму, ко всякой неправдѣ, ко всему ложному... Оттого-то его убѣ-

жденія перешли въ его плоть и кровь, слились съ его жизнью... Прибавьте къ безотрадному зрѣлищу гнилого общества, которое окружало его въ малолѣтствѣ, домашнее горе, бѣдность, нужды, вѣчно его преслѣдовавшія, вѣчную борьбу съ ними, и вы поймете, отчего произведенія его иногда переполнялись желчью, отчего въ откровенной бесѣдѣ съ нимъ изъ наболѣвшей груди его вырывались грозно обличительныя рѣчи, которыхъ, казалось, душили его"... Другія воспоминанія также рисуютъ общественную, семейную и учебную обстановку Бѣлинского съ самой неблагопріятной стороны; воспитаніе его такимъ образомъ совсѣмъ не было похоже на воспитаніе его друзей, членовъ кружка Станкевича, выросшихъ въ дворянскихъ богатыхъ помѣстьяхъ. Вполнѣ обезпеченные и окруженные съ излишествомъ всякими удобствами съ дѣтскихъ лѣтъ, они не испытывали никакихъ лишеній и не знали, что такое нужда. Житейскія невзгоды преслѣдовали Бѣлинского съ самого ранняго возраста и продолжались въ дальнѣйшемъ. Низменная сторона дѣйствительности была первою школой, тяжелымъ вкладомъ въ его міровоззрѣніе; личный опытъ при глубокой духовной сущности развилъ въ немъ энергическое сочувствіе къ страданіямъ другихъ, Бѣлинскій рано понялъ человѣческое горе и его нравственно воспитательное значеніе. Съ другой стороны въ Бѣлинскомъ съ тѣхъ же дѣтскихъ лѣтъ сказалось влеченіе ко всему прекрасному и добромъ, не находя его въ жизни, съ тѣмъ большою силой мысль обращалась къ книгѣ, къ литературѣ. „Бѣлинскій“, говорить А. Н. Пыпинъ, „не былъ, что называется „воспитанъ“ на какомъ-нибудь изъ великихъ писателей, напротивъ, онъ читалъ безъ разбора все, что попадалось подъ руку“... „онъ даже восхищался Сумароковымъ“ (будучи мальчикомъ и ученикомъ уѣзднаго училища).

„Для иного и чтеніе Шекспира или Гёте останется безплодно: для Бѣлинского довольно было произведеній, гораздо болѣе скромныхъ, чтобы поддержать въ немъ уже готовыя стремленія“. „Мало по-малу вкусъ развивался, становился требовательнѣе, и гимназистъ Бѣлинскій былъ не только поклонникомъ Пушкина, но имѣлъ уже опредѣленныя предпочтенія, и не вдругъ поддавался возраженіямъ, хотя бы они и были довольно авторитетны. Словомъ, Бѣлинскій съумѣлъ ориентироваться въ своемъ чтеніи и тѣмъ сильнѣе привязывался къ литературѣ, чѣмъ больше ему пришлось обойти окольныхъ путей, чтобы прийти къ пониманію истинно-поэтическаго“. Честта, опредѣляющая весь характеръ развитія личности Бѣлинского—самыми разнообразными дорогами упорно шелъ онъ къ истинѣ, и тѣмъ глубже залегало въ немъ выстраданное убѣжденіе.

Не окончивъ гимназіи, Бѣлинскій уѣхалъ въ Москву, въ уни-

верситетъ, его онъ также не окончилъ. Польза была отъ университета лишь та, что талантъ окрѣпъ и развился въ московской литературной и журнальной средѣ, въ кружкахъ, о которыхъ говорилось. Было большимъ счастьемъ для писателя, что обстоятельства очень скоро связали его съ просвѣщенійшими людьми тѣхъ лѣтъ. Идеальная сторона жизни, европейская наука, насколько она была доступна тогда для насъ, русскихъ, проявляла въ вольной академіи философовъ, эстетиковъ и моралистовъ въ значительно большей степени, чѣмъ въ офиціальной школѣ. Врожденное чувство воспріимчивости ко всему прекрасному нашло здѣсь счастливыя условія для своего развитія, здѣсь созрѣло эстетическое пониманіе Бѣлинского не оставлявшее его до конца жизни. Но не только одна эстетика занимала молодые умы, живыя бесѣды, страстные споры касались разнообразныхъ философскихъ вопросовъ; однако чисто научные интересы имѣли здѣсь второстепенное значеніе. „Мы тогда въ философіи искали всего на свѣтѣ, кроме чистаго мышленія“, вспоминаетъ И. С. Тургеневъ, одинъ изъ учениковъ Станкевича. Къ такой постановкѣ вопросовъ пришли однако не сразу: необходимъ былъ переходъ отъ прежняго міровоззрѣнія. Изъ неистового романтика, написавшаго въ студенческіе годы драму, гдѣ въ страстныхъ, на подобіе шиллеровскихъ, монологахъ, обличалось зло русскаго крѣпостничества (несомнѣнная причина его увольненія изъ университета), Бѣлинскій въ кругу московскихъ друзей превращается въ якобы уравновѣшеннаго мыслителя и, переживъ всю дикость нравовъ среды, изъ которой вышелъ, онъ уходитъ въ далекую отъ этой жизни германскую идеалистическую философію Шеллинга, Фихте и Гегеля. Поэтическая красота первой изъ этихъ системъ была естественною ступенью для перехода отъ романтизма, отъ томлѣнія по неясной мечтѣ. Искусство въ этой философіи имѣло первенствующее значеніе. Призванный творецъ въ искусстве былъ единственный истинный человѣкъ, соединяющій все то, что въ природѣ находится въ разъединеніи, во враждѣ. Всѣ области знанія поглощались искусствомъ, и вдохновенный художникъ постигалъ тайны міра, онъ видѣлъ и ощущалъ его гармонію. „Какимъ-то торжествомъ, свѣтлымъ, радостнымъ чувствомъ исполнилась жизнь, когда указана была возможность объяснить явленія природы тѣми же самыми законами, какимъ подчиняется духъ человѣческій въ своемъ развитіи, закрыть, повидимому, навсегда пропасть, раздѣляющую два міра, и сдѣлать изъ нихъ единый со судъ для вмѣщенія вѣчной идеи и вѣчнаго разума. Съ какою юношескою и благородною гордостью понималась тогда часть, представленая человѣку въ этой всемірной жизни!... Природа была поглощена имъ и въ немъ же воскресала для новаго, разумнаго и

одухотворенного существования!.. Чѣмъ свѣтлѣе отражался въ немъ самомъ вѣчный духъ, всеобщая идея, тѣмъполнѣе понималъ онъ ея присутствіе во всѣхъ другихъ сферахъ жизни. На концѣ всего воззрѣнія стояли нравственные обязанности и одна изъ необходимыхъ обязанностей — высвобождать въ себѣ самомъ божественную часть міровой идеи отъ всего случайного, нечистаго и ложнаго для того, чтобы имѣть право на блаженство дѣйствительнаго, разумнаго существования” (П. В. Анненковъ). Подъ вліяніемъ новой философіи Бѣлинскій и его друзья смотрѣли на міръ и окружающую дѣйствительность главнымъ образомъ съ эстетической точки зрења. Противорѣчіе идеала съ жизнью сглаживалось восторгомъ передъ истинно-художественнымъ произведеніемъ, открывавшемъ тайны міра.

Нравственная правда поглощалась красотой. Вотъ что писалъ Бѣлинскій въ это время. „Нравственность въ сочиненіи должна состоять въ совершенномъ отсутствіи притязаній со стороны автора на нравственную или безнравственную цѣль. Факты говорятъ громче словъ, вѣрное изображеніе нравственного безобразія могущественное всѣхъ выходокъ противъ него... Однако такія изображенія только тогда вѣрны, когда безпѣльны, когда созданы, а создавать можетъ одно вдохновеніе, а вдохновеніе можетъ быть доступно одному таланту, следовательно, только одинъ талантъ можетъ быть нравственнымъ въ своихъ произведеніяхъ“.

Какой запасъ эстетическихъ силъ и вѣра во всемогущество философіи были въ душѣ писателя, когда съ заразительною горячностью онъ писалъ о красотахъ искусства въ условіяхъ своего полуголоднаго существования въ Москвѣ. Это свойство Бѣлинского отдаваться до конца всеобъясняющей мысли въ дальнѣйшемъ становится еще нагляднѣе, особенно при усвоеніи имъ системы Гегеля. Но предварительно ему пришлось ознакомиться съ философіей Фихте. Онъ проходилъ ее подъ руководствомъ М. Бакунина. Система Фихте, дабы разрѣшить противорѣчіе между объективнымъ и субъективнымъ, признавала всѣ виѣшнія явленія созданіемъ человѣческаго духа. Изъ мыслей этого философа выводъ былъ тотъ, что весь виѣшний міръ превращался въ пустой призракъ, и вся задача развитой личности должна быть сосредоточена на высшей жизни духа, на познаніи своего чистаго „я“, на высвобожденіи этого „я“ изъ подъ власти всего переходящаго, случайного и отъ виѣшняго міра человѣкъ не долженъ зависѣть, если хочетъ быть свободнымъ и самостоятельнымъ. Но въ отвлеченномъ мірѣ тонкостей „Фихтеанства“ Бѣлинскій скоро почувствовалъ себя не слишкомъ ловко, и можно было ожидать, что этотъ періодъ его духовнаго развитія долженъ будеть скоро окончиться. Пренебреженіе къ другимъ сто-

ронамъ жизни, кромъ идеальной, не удовлетворяло живымъ потребностямъ его духа и отъ презрѣнія онъ очень скоро перешелъ къ совершенному оправданію дѣйствительности, къ признанію ея законной и разумной во всѣхъ проявленіяхъ. Эти выводы были сдѣланы изъ философіи Гегеля, доставившаго писателю много огорченій. Вообще всѣ изученія нѣмецкихъ мыслителей нелегко давались Бѣлинскому. „Жизнью мою, цѣною слезъ, воплей души усвоилъ я себѣ эти мысли, и онъ вошли глубоко въ мое существо“...

„Вопросъ о „дѣйствительности“ и ея „разумности“ является центральнымъ пунктомъ всей духовной жизни кружка Станкевича въ эпоху его увлеченія гегельянствомъ, и это еще разъ доказывается, въ какую грубую ошибку впадаютъ тѣ, которые, изучая движение 40-хъ годовъ, рассматриваютъ философскіе взгляды эпохи Бѣлинского исключительно съ научной точки зрењія. Не знаменательна ли въ самомъ дѣлѣ та исключительность, съ которой всѣ силы ума и сердца Бѣлинского и его друзей обратились на толкованіе положенія Гегеля — „все дѣйствительное — разумно“, положенія, въ концѣ концовъ, второстепеннаго, мимоходомъ высказанаго въ предисловіи къ „Философіи права“. Если вы возьмете какую-нибудь позднѣйшую исторію философіи и прочтете статью о Гегелѣ, вы тамъ часто не встрѣтите даже простого упоминанія о формулѣ „все дѣйствительное — разумно“. Вотъ до чего маловажной она кажется обыкновенному изслѣдователю рядомъ съ грандиозностью чисто-научныхъ притязаній гегелевской философіи дать абсолютную истину о сущности всего мірового процесса. Но для русского человѣка сороковыхъ годовъ, который накинулся на гегелевскую философію не изъ жажды научного знанія, а потому, что ему надо было немедленно решить вопросъ, какъ ему жить, все отстушило передъ жгучестью ужасныхъ сомнѣній, вносимыхъ формулой“ (С. А. Вентгеровъ). За этотъ, собственно говоря, безразличный взглядъ на явленія жизни Бѣлинскій ухватился, какъ за послѣднюю возможность мыслью замирить чувство, возмущавшееся отъ оскорбляющей дѣйствительности. За новое убѣжденіе онъ держался очень крѣпко и былъ до безумства послѣдователенъ, доходя до самыхъ крайнихъ выводовъ. „Я гляжу на дѣйствительность“, — пишетъ Бѣлинскій, — „столь презираемую мною прежде, и трепещу таинственнымъ восторгомъ, сознавая ея разумность, видя, что изъ нея ничего нельзѧ выкинуть, и въ ней ничего нельзѧ похудить и ниавергнуть. Всѣ самыя противоположныя понятія получили для меня какой-то цѣлостный смыслъ и уже не дерутся между собою, но образуютъ цѣлое зданіе со многими сторонами, одну общую картину изъ разныхъ красокъ, жизнь изъ-

безконечно разнообразныхъ элементовъ "... Ему кажется, что „всякій шагъ человѣка вѣренъ, всякое положеніе истинно, всѣ отношенія къ людямъ безошибочны“...

„Дѣйствительность есть чудовище, вооруженное желѣзными когтями и огромною пастью съ желѣзными челюстями. Рано или поздно, но пожретъ она всякаго, кто живеть съ ней въ разладѣ и идетъ ей на перекорь. Чтобы освободиться отъ нея и вмѣсто ужаснаго чудовища увидѣть въ ней источникъ блаженства, для этого одно средство—*сознать ее*“. Нужно замѣтить, что въ это время крайнихъ выводовъ Бѣлинскаго онъ былъ одинокъ, члены кружка Станкевича въ Москвѣ не жили, старые друзья разѣхались, новые еще не прїѣхали. Самъ Станкевичъ былъ за границей, Грановскій еще не прїѣжалъ въ Москву, Герценъ пока былъ въ ссылкѣ, В. П. Боткинъ никакого противодѣйствія оказать не могъ, т. к. былъ силенъ въ исторіи искусствъ, а не въ философіи; оставался Бакунинъ, но его отношенія къ Бѣлинскому въ періодъ крайняго увлеченія послѣдняго уже измѣнились; друзья началиссориться съ тѣмъ, чтобы скоро и вовсе разойтись. Во всѣхъ перечисленныхъ стремленіяхъ Бѣлинскаго у него была одна цѣль—выработать нравственный идеалъ, опираясь на различные философскія системы, объяснить поражающіе его факты русской дѣйствительности, найти выходъ сомнѣніямъ, которыя обуревали его страстную натуру, пытавшуюся такъ или иначе примирить разладъ нравственныхъ требованій съ существующимъ положеніемъ вещей. Послѣднее міросозерцаніе, сложившееся у Бѣлинскаго, не нравилось его друзьямъ. Станкевичъ не одобрялъ „примиренія“; Бакунинъ сердился на Бѣлинскаго за его измѣну „идеальности“ въ пользу дѣйствительности. Въ 1839 г. произошла встрѣча Бѣлинскаго съ вернувшимся изъ ссылки Герценомъ; эта встрѣча имѣла важное значеніе. Еще въ началѣ тридцатыхъ годовъ, во времена возникновенія кружковъ, Герценъ и его другъ Огаревъ воспитывались на идеяхъ, рѣзко отличавшихся отъ идеалистического направленія друзей Станкевича. Члены кружка Герцена въ противоположность германской философіи увлекались французскимъ позитивизмомъ и соціализмомъ. Но въ 1834 г. оба друга были арестованы и отправлены въ ссылку. Кружокъ разсѣялся и нѣкоторые его члены присоединились потомъ, спустя нѣсколько лѣтъ, къ товарищамъ Станкевича. Вниманіе Герцена и его друзей было давно сосредоточено на политическихъ и соціальныхъ вопросахъ, на изученіи современного состоянія общества, на размышеніяхъ о возможномъ его будущемъ. Съ ихъ точки зреінія примиреніе съ дѣйствительностью было уничтоженіемъ всѣхъ запросовъ, какими жила ихъ душа. Встрѣча Герцена послѣ ссылки съ Бѣлинскимъ въ Москвѣ

была очень недружелюбна, отношение первого къ русской дѣйствительности было самое отрицательное, отношение второго доходило до полнаго оправданія всѣхъ самыхъ уродливыхъ явлений. Но уже приближался послѣдній переломъ во взглядахъ нашего критика, новая литература, столь любимая имъ, стала опровергать всѣ его теоретическія разсужденія, и перемѣна его жизни способствовала, какъ и въ молодости, ближайшему столкновенію съ дѣйствительностью. Появились стихотворенія и проза Лермонтова, пѣсни Кольцова, „Мертвые души“ Гоголя, а самъ Бѣлинскій вынужденъ былъ покинуть Москву и перебраться въ Петербургъ. Весь пройденный путь былъ далеко не безплоденъ, въ лицѣ Бѣлинского русская общественная мысль совершила свое необходимое развитіе и отъ романтизма постепенно перешла къ новымъ задачамъ нашего первого реализма. И ранній романтизмъ писателя, и отрицаніе и оправданіе дѣйствительности, все послужило къ выработкѣ цѣльного міросозерцанія, въ которомъ пониманіе красоты гармонично сочеталось со здравымъ отношеніемъ къ дѣйствительности, глубина мысли—съ чуткой воспріимчивостью ко всѣмъ жизненнымъ явленіямъ.

Переѣздъ въ Петербургъ былъ связанъ съ большими огорченіями. Бѣлинскій прощался съ жизнью среди друзей и выступалъ въ міръ чужой и враждебный.

Журналисты—Сенковскій, Булгаринъ и Гречъ имѣли многочисленныхъ поклонниковъ въ обществѣ и, дабы ослабить ихъ вредное влияніе, приходилось вести съ ними утомительную полемику; бывшій кружокъ Пушкина былъ Бѣлинскому чуждъ; редакція „Отечественныхъ Записокъ“, которая вызвала его изъ Москвы, состояла изъ лицъ ему мало знакомыхъ. Впослѣдствіи около него составился новый кружокъ друзей, въ числѣ которыхъ были Некрасовъ, Панаевъ, Тургеневъ, Анищенковъ и др. Но эти новые друзья не могли замѣнить Бѣлинскому старыхъ. Образъ его жизни былъ однообразенъ, въ 1843 г. онъ женился.

Два раза, и то на короткій срокъ, уѣзжалъ онъ изъ Петербурга въ Крымъ и за границу, для лѣчения болѣзни. Въ Петербургъ Бѣлинскій приходилъ въ болѣе частое и рѣзкое столкновеніе съ той дѣйствительностью, полное примиреніе съ которой онъ такъ недавно проповѣдалъ. Вращаясь въ кругу московскихъ друзей, преимущественно въ области отвлеченныхъ вопросовъ, онъ многія стороны жизни наблюдалъ лишь издалека; эти стороны съ полною ясностью предстали передъ нимъ въ городѣ, гдѣ ближе пришлось узнать условія, въ которыхъ работалъ тогдашній русскій литераторъ, оцѣнить силу вліянія Булгарина, Гречи и Сенковскаго, узнать, что такое читающая публика. Приведемъ иѣсколько строкъ изъ его

размышлений о Петербургѣ. „Петербургъ“, пишетъ Бѣлинскій, „имѣть на нѣкоторыя натуры отрезвляющее дѣйствіе; сначала кажется вамъ, что отъ его атмосферы, словно листья съ дерева, спадаютъ съ васъ самая дорогія убѣжденія; но скоро замѣчаете вы, что то не убѣжденія, а мечты, порожденныя праздною жизнью и рѣшительнымъ незнаніемъ дѣйствительности,—и вы остаетесь, можетъ быть, съ тяжкою грустью, но въ этой грусти такъ много святого, человѣческаго... Что мечты! Самая обольстительная изъ нихъ не стоять въ глазахъ дѣльного (въ разумномъ значеніи этого слова) человѣка самой горькой истины, потому что счастье глупца есть ложь, тогда какъ страданіе дѣльного человѣка есть истина и при томъ плодотворная“... Въ другомъ мѣстѣ Бѣлинскій говоритъ слѣдующее. „Мы весь Божій свѣтъ видѣли въ своемъ кружкѣ. Появилось стихотвореніе, повѣсть—восхитили тебя, меня и прочихъ чудаковъ, а мы и говоримъ, что публика поняла это сочиненіе. Чтобы узнать, что такое русская читающая публика, надо пожить въ Петербургѣ“... Длинные письма, какія писалъ въ это время Бѣлинскій къ своимъ московскимъ друзьямъ, свидѣтельствуютъ о тяжелыхъ душевныхъ переживаніяхъ, о ломкѣ всего міровоззрѣнія; по этимъ письмамъ можно съ полной ясностью представить себѣ ходъ его мыслей, приведшій къ окончательнымъ выводамъ, создавъ того Бѣлинского, взгляды котораго стали канономъ для большинства изъ послѣдующихъ поколѣній. Говоря о трудности положенія среди дѣйствительности, еще заслуживающей презрѣнія, Бѣлинскій съ возрастающею горячностью описываетъ свои новыя настроенія. „Въ Петербургѣ, съ необитаемою острова я очутился въ столицѣ, журналъ поставилъ меня лицомъ къ лицу съ обществомъ,—и Богу извѣстно, какъ много перенесъ я! Для тебя еще не совсѣмъ понятна моя вражда къ москводушію, но ты смотришь на одну сторону медали, а я вижу обѣ. Меня убило это зрѣлище общества, въ которомъствуютъ и играютъ роли подлецы и дюжинныя посредственности, а все благородное и даровитое лежитъ въ позорномъ бездѣйствіи на необитаемомъ островѣ... Отчего же европеецъ въ страданіи бросается въ общественную дѣятельность и находить въ ней выходъ изъ самаго страданія?“ Въ слѣдующемъ же письмѣ отъ 4 октября 1840 г. разрывъ съ прежними возврѣніями уже совершенно опредѣлился, и Бѣлинскій разражается страстнымъ монологомъ такого содержанія.

„Проклинаю мое гнусное стремленіе къ примиренію съ гнусною дѣйствительностью!.. Да здравствуетъ великий Шиллеръ, благородный адвокатъ человѣчества, яркая звѣзда спасенія, эманципаторъ общества отъ кровавыхъ предразсудковъ преданія! Да здравствуетъ разумъ, да скроется тьма!—какъ воскликнулъ великий Пушкинъ.

Для меня теперь человѣческая личность выше исторіи, выше человѣчества. Это мысль и дума вѣка! Боже мой, страшно подумать, что со мной было—горячка или помѣшательство ума—я словно выздоравливающій... И въ концѣ письма: „дѣйствительность—это палачъ“.

Всѣ пути были пройдены, Бѣлинскій пришелъ къ выводамъ, не оставлявшимъ его уже до конца жизни.

Теперь проповѣдь его сводится къ необходимости поднять духовный уровень массъ, повысить сознаніе человѣческаго достоинства, отстаивать право развитой личности на свободную мысль и чувство. Вопросъ объ отношеніи такой личности къ народной массѣ, которую слѣдовало воспитывать и просвѣщать, сталъ, какъ извѣстно, кореннымъ въ разногласіяхъ двухъ общественныхъ теорій, западнической и славянофильской.

Въ связи съ развитіемъ философскихъ воззрѣній Бѣлинского шло развитіе его эстетическихъ и вообще литературныхъ взглядовъ. Но здѣсь въ немъ было больше устойчивости; вопреки своимъ теоретическимъ разсужденіямъ, онъ невольно становился на правильныя точки зрѣнія, соединяя чувство дѣйствительности съ врожденнымъ чувствомъ прекраснаго. И здѣсь заключается его непререкаемое значеніе. Его общественно-политическіе взгляды нуждались въ поправкахъ, историческая наука разъяснила впослѣдствіи многое, что не было извѣстно ни Бѣлинскому, ни его противникамъ, но обнаруженное имъ необычайно тонкое художественное пониманіе произведеній Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Кольцова надолго сдѣлало его литературные оцѣнки школьными, классическими.

Все это достаточно извѣстно. Но хотѣлось бы напомнить въ эти дни воспоминаній о знаменитомъ критикѣ, что, доходя мыслью до граней отрицанія, ставъ въ послѣдніе годы жизни на публицистическую точку зрѣнія, Бѣлинскій не потерялъ способности вѣрно опредѣлять художественную сторону поэтическихъ произведеній, не требовалъ отъ свободного творчества подчиненія предуказаннымъ цѣлямъ. Приведемъ послѣдніе взгляды его на искусство. Въ декабрѣ 1847 г. Б. пишетъ В. П. Боткину: „Будь повѣсть хоть расхудожественна, да если въ ней нѣтъ дѣла, то я къ ней совершенно равнодушенъ... Я знаю, что сижу въ односторонности, но не хочу выходить изъ нея“... Его продолжатели, за немногими исключеніями, этого не сознавали и довели свои требованія до тупика, гдѣ прекрасное, вѣчное въ такомъ писателѣ, какъ Глѣбъ Успенскій, вызывало равнодушіе, Фетъ былъ острякъ, а вся красота и глубина творчества А. Чехова оставалась совершенно непонятой. Бѣлинскаго спасли не только врожденная

чуткость къ прекрасному, но и полученное имъ эстетическое воспитаніе въ самомъ идеалистическомъ кружкѣ, который когда-либо бывалъ на свѣтѣ. И въ этомъ гармоническомъ сочетаніи широкихъ общественныхъ взглядовъ съ преклоненіемъ передъ вѣчными красотами человѣческаго духа надо видѣть неумирающее значеніе первого русскаго критика.

В. Я.

